

УДК 82.0

**«А ДУНЯ РАЗЛИВАЕТ ЧАЙ...»
(ТРАНСФОРМАЦИЯ ХРОНОТОПА «СЕМЕЙНОЙ ИДИЛЛИИ»
В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА «НА НОВЫЙ ЛАД»)**

© 2016 г.

С.И. Ермоленко

Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург

ermolenko-1@mail.ru

Поступила в редакцию 17.10.2015

Статья посвящена трансформации идиллического хронотопа (семейной идиллии) в стихотворном романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». К анализу привлекаются также поэма «Граф Нулин» и незавершенный «<Роман в письмах>». Приступая к созданию романа нового типа в русской литературе, Пушкин должен был определить свое отношение к предшествующей жанровой традиции, которую сам он обозначил как «роман на старый лад». Анализ традиционных для «сентиментального романа» «на старый лад» ситуаций и сцен (и, в первую очередь, ситуации чаепития – квинтэссенции семейной идиллии) позволяет увидеть, как Пушкин, трансформируя канон, создает свой роман «на новый лад», который становится отражением объективной сложности жизни, не укладывающейся в условности идиллического хронотопа.

Ключевые слова: А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», «<Роман в письмах>», идиллический хронотоп («семейная идиллия»), «роман на старый лад», трансформация, канон.

«Весь русский роман XIX века», по справедливому утверждению Ю.М. Лотмана, «корнями уходит в “Онегина”» А.С. Пушкина. «Евгений Онегин» определил «многие черты, которые в дальнейшем стали ассоциироваться со спецификой *русского* романа» [1, с. 454–455] (курсив автора. – С.Е.). Сразу же оговоримся, жанровая природа пушкинского стихотворного романа, его место в истории жанра (это отдельная большая тема, уже получившая достаточное освещение в отечественном пушкиноведении) – не предмет нашей статьи. Тема настоящей статьи носит более частный характер, но тем не менее, с нашей точки зрения, она связана с обозначенной выше проблемой изучения «Евгения Онегина».

Одним из важнейших предметов изображения в «Евгении Онегине», как известно, становится повседневная жизнь русского дворянства и, прежде всего, поместного, усадебного дворянства (этому изображению посвящена большая часть романа – со второй по седьмую главы). Само обращение к этой теме предполагает осмысление ее соотносительности с традицией так называемого «семейного», «усадебного» романа», для которого характерен, по мнению М.М. Бахтина, особый тип пространственно-временной организации, а именно идиллический хронотоп («семейная идиллия»). «Идиллическая жизнь, – писал Бахтин, – и ее события неотделимы от... конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот

ограничен и довлеет себе, не связан существенно с другими местами, с остальным миром. <...> Единство места сближает и сливает колыбель и могилу (тот же уголок, та же земля), детство и старость (та же роща, речка, те же липы, тот же дом), жизнь различных поколений, живших там же, в тех же условиях, видевших то же самое. Это определяемое единством места смягчение всех граней времени существенно содействует и созданию характерной для идиллии циклической ритмичности времени» [2, с. 158]¹.

Приступая к созданию «Евгения Онегина» и только «нащупывая», по выражению В.А. Грехнёва, «художественно рефлектируя», жанровую природу «романа нового времени в его национально-русском варианте» [4, с. 441], Пушкин должен был определить свое отношение к предшествующей сентименталистской традиции, которую сам он обозначил понятием «роман на старый лад». Семейная идиллия «под липами»², «тихая и преемственная жизнь усадьбы», отмеченная «постоянством связей во времени и в пространстве», и составляла, вероятно, в восприятии Пушкина содержание «романа на старый лад». Очевидно, автор «Евгения Онегина» думал о «форме плана», то есть о структуре и жанре романа, не только на начальной стадии своей работы над произведением («Я думал уж о форме плана, / И как героя назову; / Покамест моего романа / Я кончил первую главу...» [6, V, с. 35]³), но и продолжая работать над ним (пуш-

кинское определение – «роман на старый лад» – появится в третьей главе, о чем мы будем еще говорить далее). Работа над начальными главами шла в течение 1823–1824 годов. В 1825 году, оканчивая четвертую главу, Пушкин пишет поэму «Граф Нулин»⁴, в которую вводится сцена чтения героиней «семейного» романа «на старый лад»:

Пред ней открыт четвертый том

Сентиментального романа:

Любовь Элизы и Армана,

Иль переписка двух семей.

Роман классический, старинный,

Отменно длинный, длинный, длинный,

Нравоучительный и чинный,

Без романтических затей [6, IV, с. 238] (курсив автора. – С.Е.).

Следовательно, на протяжении довольно длительного времени (по крайней мере, с 1823 по 1825 годы) Пушкин, работая над «Онегиным», напряженно размышляет над природой своего стихотворного романа как принципиально новой для русской литературы жанровой разновидности – эпической формой нового времени. Очевиден насмешливо-иронический контекст, в котором дается сцена чтения в поэме: Наталья Павловна лишь до тех пор «внимательно читала» «нравоучительный и чинный» роман в письмах (излюбленная жанровая форма сентименталистского романа, «расцвет» которого «был еще недавним прошлым, и он еще не вышел тогда из моды» [8, с. 74]), пока ее не «развлекла» «возникшая» перед окном «драка козла с дворовою собакой», которой она, без сожаления оставив книгу, «тихо занялась». Пушкин с видимым удовольствием, набрасывая яркие, сочные мазки, рисует деревенскую картинку: индейки, «с криком» «выступающие» «вослед за мокрым петухом», утки, «полощущиеся» «в луже», «баба», идущая «через грязный двор белье повесить на забор», – это все то, что чуть позже поэт назовет «фламандской школы пестрый сор». Бытовая сценка, помимо своего прямого назначения – воссоздания колорита «прозы» деревенской жизни, столь бесконечно далекой от истории «любви Элизы и Армана», о которой читает Наталья Павловна в «четвертом томе», ясно выражает и отношение Пушкина к «старинным» «сентиментальным романам» из семейной жизни. А потому и допускаемая автором «Онегина» возможность, «Фебовы презрев угрозы», в пору своего «веселого заката» «заняться» «романом на старый лад», также воспринимается читателем не иначе как в ироническом ключе:

Не муки тайные злодейства

Я грозно в нем изображу,

Но просто вам перескажу

Преданья русского семейства,

Любви пленительные сны

Да нравы нашей старины.

Перескажу простые речи

Отца иль дяди-старика,

Детей условленные встречи

У старых лип, у ручейка;

Несчастной ревности мученья,

Разлуку, слёзы примиренья,

Поссорю вновь, и наконец

Я поведу их под венец... [6, V, с. 61].

Однако поначалу кажется, что рассказ о семействе Лариных, которые «в жизни мирной» «хранили» «привычки милой старины», разворачивается именно в соответствии с каноном «романа на старый лад». Кажется, что Пушкин действительно воспроизводит почти классический вариант «идиллической жизни» «в глуши», на лоне природы:

У них на масленице жирной

Водились русские блины;

Два раза в год они говели;

Любили круглые качели,

Подблюдны песни, хоровод;

В день Троицын, когда народ

Зевая слушает молебен,

Умильно на пучок зари

Они роняли слезки три;

Им квас как воздух был потребен,

И за столом у них гостям

Носили блюда по чинам [6, V, с. 52].

Патриархально-идиллический и одновременно иронический характер изображения бытового уклада жизни Лариных подчеркнут доминированием в нем женского начала в духе русской культурной гинекратической традиции, сформировавшейся в XVIII веке [9, с. 44–47]. Прасковья Ларина

меж делом и досугом

Открыла тайну, как супругом

Самодержавно управлять,

И всё тогда пошло на статью [6, V, с. 50–51]

И все же нельзя не заметить, что изображение «покойной» деревенской жизни Лариных, которая тихо «катилась», ограниченная «домашним кругом» («Но муж любил ее сердечно.../ Во всем ей веровал беспечно...»; «И так они старели оба» [6, V, 51, 52]), несмотря на ироническую окрашенность повествования, не лишено определенного обаяния, которое всегда свойственно идиллии.

При этом автор не ограничивается изображением бытового уклада только семейной жизни Лариных, но и указывает на ближайший круг их общения. И здесь все та же семейная идиллия:

Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить и позлословить
И посмеяться кой о чем [6, V, с. 51–52].

На «веселый праздник именин» Татьяны к гостеприимным Лариным съезжаются соседи-помещики – запросто, по-домашнему, «целыми семьями» «в возках, в кибитках, в бричках и в санях»: «толстый Пустыков» «с своей супругою дородной»; «Скотинины, чета седая», «с детьми всех возрастов... от тридцати до двух годов»; «С семьей Панфила Харликова / Приехал и мосье Трике» «et cetera», «et cetera». Подчеркнутая простота деревенских нравов («Постели стелют; для гостей / Ночлег отводят от сеней / До самой девичьи» [6, V, с. 119]) призвана символизировать кажущуюся устойчивость, неизменность усадебного бытия, верность «привычкам милой старины».

Да и начало любовного романа Ленского и Ольги («в тени хранительной дубравы»), которым «прочили венцы» «друзья-соседи, их отцы», как об этом рассказано во второй – четвертой главах, выглядит также вполне идиллично:

Он вечно с ней. В ее покое
Они сидят в потемках двое;
Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой;
И что ж? Любовью упоенный,
В смятении нежного стыда
Он только смеет иногда,
Улыбкой Ольги ободренный,
Развитым локоном играть
И край одежды целовать [6, V, с. 86–87].

Однако упоминание о чтении («иногда») Ленским Ольге «нравоучительного романа», очевидно, тоже «старинного», когда он, «по-краснев», пропускал «две, три страницы», «опасные для сердца дев», а также размышления автора, причисляющего себя к «врагам Гимена», о будущей «домашней жизни» героев («Ряд утомительных картин, / Роман во вкусе Лафонтена...» [6, V, с. 98]⁵ (курсив наш. – С.Е.)), свидетельствует не только об ироническом отношении Пушкина к семейной идиллии, но и (в который раз!) об отношении к «роману на старый лад».

Далее, поначалу кажется, что сцена свидания Онегина и Татьяны в третьей главе романа также «сдвигается», по меткому замечанию В.А. Грехнёва, в сторону «проторенной фабульной колеи, все ощутимей затрагивая в пушкинском читателе эмоции узнавания»: «Сейчас развернется сцена свидания, сцена встреч “у старых лип, у ручейка”, ассоциируемая с миром романа “на старый лад”. И тут Пушкин оста-

навливает мятник события» [11, с. 108]. И оказывается, что дальнейшее развитие событий пойдет совсем не так, как уже ожидает читатель, не по «проторенной колее» – сценарию «романа на старый лад».

Создается впечатление, что автор «Онегина» с самого начала развития действия для того и напоминает так настойчиво читателю о традиционной схеме «романа на старый лад», чтобы потом разрушить ее, утвердив новые принципы романного повествования.

По Бахтину, «равнодостоинными» составляющими («основными реальностями») семейной идиллии являются «любовь, рождение, смерть, брак, труд, еда и питье». Именно последним двум – еде и питью, которые «носят в идиллии... чаще всего – семейный характер», принадлежит здесь особая роль: «за едой сходятся поколения, возрасты»; типичное для идиллии «соседство еды и детей» «проникнуто началом роста и обновления жизни» [2, с. 159, 160] (курсив автора. – С.Е.). Автор «Онегина», описывая размеренный усадебный быт, в котором время «обеда, чая и ужина» «без больших сует» определяется по «желудку» («верный наш брегет»), шуточно сравнивает себя с «божественным Омиром», «тридцати веков кумиром», замечая («кстати») «в скобках»:

.... речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,

О разных кушаньях и пробках... [6, V, с. 116].

Без сомнения, одним из «кушаний», наиболее характерных для национальной семейной идиллии, является чаепитие, «без которого просто невозможно представить себе повседневную жизнь русского человека, а также русскую культуру в целом»⁶, дворянскую культуру первой половины XIX века в особенности [13, с. 508–517]. Приведем в этой связи не лишнее некоторой ироничности, но все же согретое теплым сердечным чувством размышление В.В. Розанова о ритуале семейного чаепития в «русском доме», как он запечатлелся в классической литературе: «“Дома” натоплено, тепло, тепло, как за границей решительно не умеют топить домов – нет таланта так топить. И сядишь за самовар, “единственное национальное изобретение”. Самовар же вычищен к “кануну праздника” ярко-ярко... И горит, и кипит... Шумит тихим шумом комнатной жизни. Белоснежная скатерть покрывает большой стол... И на подносе, и дальше вокруг около маленьких салфеточек расставлены чашки и стаканы с положенными в них серебряными ложечками... И сахарница со щипчиками, и чайник под салфеткой. Сейчас разольется душистый чай. И будет сейчас всем хорошо» [14, с. 476] (курсив наш. – С.Е.).

Вот на этой составляющей семейной идиллии, точнее *ситуации*⁷ чаепития, – мы и остановим свое внимание. И опять кажется, что именно такое семейное чаепитие в его национально-русском варианте изображает Пушкин в третьей главе романа (строфа XXXVII):

Смеркалось; на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал... [6, V, с. 74]

Пушкиным обозначены почти все составляющие идиллического чаепития в «русском доме»: и «блистающий», ярко начищенный, «шипящий» (поющий) самовар, и чайник с чашками, надо полагать, из тончайшего китайского фарфора (может быть, семейная реликвия), и «душистый», ароматный, щедро заваренный («темной струею» «бегущий» «по чашкам») чай, и даже «сливки» к нему – всё это символы уюта, домашнего тепла. Да и время для чаепития самое подходящее – вечернее, когда дневные дела и заботы позади, и можно насладиться отдыхом и покоем в кругу семьи: и «будет сейчас всем хорошо».

Однако одна деталь вносит в эту семейную идиллию едва уловимую нотку диссонанса. Согласно традиции, главной в чайной церемонии обычно была хозяйка дома либо старшая из дочерей. В семье же Лариных эту роль выполняет младшая из сестер – Ольга, что подчеркнуто в романе дважды (см. также: «Проходит время; между тем / Прикажут Ольге чай готовить...» [6, V, с. 52]). И эта как будто бы незначительная деталь указывает на особое положение в доме Татьяны, которая «в семье своей родной / Казалась девочкой чужой». Не случайно Татьяна как бы выключена из этой идиллической сцены: в то время, когда семья и гость – Ленский – собрались *за столом* вокруг самовара, она, стоя *«перед окном»*,

На стекла хладные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель *О да Е*. [6, V, с. 74–75]

(курсив автора. – С.Е.)

«Всем хорошо...». Но не Татьяне, которая с замиранием сердца ждет Онегина, ответ на свое письмо с признанием в любви («... душа в ней ныла, / И слез был полон томный взор»). Разность душевных состояний подчеркнута знаковой «температурной» деталью: «тепло, тепло»

сидящим у «шипящего» «вечернего самовара» («клубился легкий пар») – «холодно» Татьяне «перед окном» («стекла хладные»).

Так, семейная идиллия оказывается, по меньшей мере, неполной. Кроме того, эта сцена вечернего домашнего чаепития, воссозданная Пушкиным в полном, казалось бы, согласии с национальной традицией, предваряется в романе другой, на этот раз откровенно ироничной чайной сценой (глава вторая, строфа XII):

Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай,
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):

Приди в чертог ко мне златой!

[6, V, с. 41] (курсив автора. – С.Е.)

Созданию иронического эффекта способствует образ провинциальной Дуни («подчеркнуто нелитературное имя» – Ю.М. Лотман), которая, желая произвести самое выгодное впечатление на «соседа», «пищит» под «гитару», как оказывается, «оперный шлягер», извлеченный ею, скорее всего, из «модного» песенника пушкинской поры⁸.

Следующая сцена чаепития из третьей главы, о которой говорилось выше, – «Смеркалось; на столе, блистая, / Шипел вечерний самовар...» – в сравнении с предыдущей выглядит как вполне идиллически-поэтическая (по крайней мере, так, очевидно, воспринимает ее Ленский, «Ольгин обожатель»). Но читатель не может не заметить явного параллелизма этих двух «чайных» эпизодов в контексте романа, вследствие которого иронический отсвет падает и на вторую сцену чаепития с Ольгой. Дуня в пушкинском тексте выступает как некое нарицательное, собирательное имя, обозначающее «уездную барышню» «на выданье». Ольга, таким образом, оказывается в числе этих деревенских «Дунь», которые, «разливая чай», преследуют вполне матримониальную цель – понравиться потенциальному жениху. В роли же жениха выступает Ленский («Везде был принят как жених; / Таков обычай деревенский; / Все дочек прочили своих / За *полурусского соседа*...» [6, V, с. 41] (курсив автора. – С.Е.).

Добавим к этому упоминание о чаепитии в пятой главе, посвященной описанию «веселого праздника именин» Татьяны (закончившегося, впрочем, совсем не весело). Среди эпизодических персонажей «праздника» фигурируют «девчонки», которые, узнав о том, что «будет бал» («Какая радость..!»), «прыгают заранее» (когда же наступает время чаепития, «девчонки» превращаются в благородных «девиц», «чинно» пьющих, согласно деревенскому этикету, чай из «блюдечек»), а также Петушков,

«Парис окружных городков», который, «оставя чашку чая с ромом»⁹, спешит, «обрадованный» (как и «девчонки») «музыки громом», к Ольге, чтобы пригласить ее на танец. И это дружелюбно-насмешливое упоминание о деревенских барышнях («девчонках» – «девицах») и «Парисе» – Петушкове также «работает» на создание иронической подсветки сцены именинного чаепития, которая переключается, таким образом, с двумя предыдущими «чайными» сценами.

Ю.М. Лотман, указывая на то, что онегинский текст «изобилует» различного рода намеками, цитатами и реминисценциями, понимание которых зависит от «объема культурной памяти читателя»¹⁰, так комментирует приведенные выше строки о «Дуне» («Зовут соседа к самовару...») из второй главы романа: «Смысл содержащейся здесь реминисценции раскрывается из сопоставления с цитатой из неоконченного “Романа в письмах” Пушкина: “...живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов”» [6, VI, с. 62]. «Подобная деталь, – отмечает далее ученый, – вообще составляла общее место сентиментальных романов “на старый лад” (ср. Шарлотту за завтраком в “Страданиях юного Вертера” Гёте¹¹)» [1, с. 475–476].

Попробуем далее продолжить наблюдения Ю.М. Лотмана. Пушкин начинает писать «<Роман в письмах>», когда работа над «Онегиным» еще не завершена, – в 1829 году. Но к этому времени, очевидно, уже становятся ясны очертания «нового» романа. И Пушкин предпринимает смелую попытку пересоздания «романа на старый лад», причем в самом его традиционном для сентиментализма эпистолярном варианте. Главная героиня пушкинского романа Лиза сравнивает себя с героиней романа в письмах С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747), «классического, старинного, отменно длинного, длинного, длинного», о котором она отозвалась в одном из своих писем более чем насмешливо: «Надобно жить в деревне, чтоб иметь возможность прочесть хваленую Клариссу. Я благословясь начала с предисловия переводчика и, увидя в нем уверение, что хотя первые 6 частей скучненьки, зато последние 6 в полной мере вознаграждают терпение читателя, храбро принялась за дело. Читаю том, другой, третий, – наконец добралась до шестого, – скучно, мочи нет» [6, VI, с. 63]¹². Таким образом, насмешливое отношение Лизы к «хваленному» сентиментальному роману распространяется и на излюбленное деревенское занятие – семейное чаепитие. Светская церемония чопорного английского чаепития, перенесенная на русскую почву – «в глухую деревню», получает в тексте пушкинского эпистолярного романа ироническую

окраску. В то же время пушкинская героиня иронична и по отношению к самой себе в роли «Клариссы Гарлов», что, безусловно, совпадает с авторской оценкой. Сказанное Ю.М. Лотманом о пушкинском стихотворном романе: «“литературность” выступает в “Евгении Онегине” неизменно в освещении авторской иронии», «чем ближе герой к миру литературности, тем ироничнее отношение к нему автора» [1, с. 434, 444], – справедливо и по отношению к незаконченному «<Роману в письмах>».

Отметим, кстати, что умная и образованная барышня Лиза («Я читаю очень много»), сообщая подруге о своем намерении перечитать все книги, которыми заполнен «целый шкаф» в доме соседей по имению, вполне могла «читать» не только «старинные романы» («обманы и Ричардсона и Руссо», в которые «влюблялася» Татьяна Ларина), но и выходящие отдельным изданием главы «Евгения Онегина» (первая опубликована в 1825 г., вторая – в 1826 г., третья – в 1827 г., четвертая, пятая и шестая – в 1828 г.; напомним, «<Роман в письмах>» писался в 1829 г.)¹³. А значит, Лиза могла легко представить себя (иронически увидеть себя со стороны) в обстановке русской деревенской идиллии («Теперь я живу дома, я хозяйка – и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. <...> Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это... весной и летом должно казаться земным раем» [6, VI, с. 60] (курсив автора. – С.Е.)¹⁴ не только в роли «Клариссы Гарлов», но и в роли Дуни–Ольги. Так, в поведении Лизы возникает осязаемый игровой момент, в который вовлекается и ее адресат – Саша, не менее умная и тоже начитанная барышня, как результат иронического осмысления «семейной идиллии» в хорошо известном обоим подругам традиционном литературном контексте¹⁵.

В незавершенном эпистолярном романе Пушкина есть еще одна героиня, которая также может быть воспринята в рассматриваемом «чайном» контексте. Это Машенька, «стройная меланхолическая девушка... воспитанная на романах и на чистом воздухе». Как истинная деревенская жительница, «выросшая под яблонями и между скирдами», она «говорит о погоде нараспев и с чувством потчует варением» [6, VI, с. 63] (курсив наш. – С.Е.), замечает насмешливая Лиза, – типично деревенским угощением к чаю (между прочим, любимым и самим Пушкиным). Ср. в «Евгении Онегине»: «Простая, русская семья, / К гостям усердие большое, / Варенье, вечный разговор / Про дождь, про лён, про скотный двор...» [6, V, с. 55]; «Обряд известный угощения: / Несут на

блюдечках варенья...» – «Иных занятий и утех / В деревне нет после обеда» [6, V, с. 56, 584].

Следовательно, в пушкинском эпистолярном романе, как и в «Евгении Онегине», возникает параллелизм не изображенных, но предполагаемых ситуаций (героинями которых являются в первом случае Лиза, во втором – Маша), которые, корреспондируя друг с другом, сообщают идиллически-сентиментальной «чайной» церемонии иронический (в восприятии Лизы) смысл.

Можно говорить, таким образом, о многократном параллелизме сцен чаепития: как внутри каждого из пушкинских романов («Евгений Онегин» и «<Роман в письмах>»), так и о параллелизме сцен данных произведений. Вследствие этого возникает «сверхтекстовый» персонажный ряд, объединенный ситуацией чаепития. В начале этого ряда оказывается героиня романа Ричардсона, от которого были «без ума» провинциальные барышни пушкинской поры, как и их маменьки в свои молодые годы: «Кларисса Гарлов» – Дуня – Ольга – Маша – Лиза. В этом ряду очевидным становится смещение от изначально и традиционно идиллического модуса, заданного «сентиментальным романом» «на старый лад», к ироническому – в пушкинских произведениях.

Эта сверхтекстовая ситуация, являющаяся предметом нашего рассмотрения, предполагает диалог текстов, при котором «в точке контакта», как писал М.М. Бахтин, «вспыхивает свет, освещающий и назад и вперед» [22, с. 385]. В результате текст каждого из произведений, вступающих в диалог, «значит не только то, что он значит, но и нечто другое». При этом «новое значение не отменяет старого, а коррелирует с ним» [1, с. 427–428]. Соотнесенность «чайных» сцен двух пушкинских романов, которую способен уловить культурный читатель, если у него возникает «понимание намека и ощущение параллелизма» (Ю.М. Лотман), сообщает каждому из них дополнительную глубину и смысловую емкость. Причем здесь важным является не само по себе ироническое отношение автора к персонажам (хотя оно и возможно), а именно ироническое освещение самой ситуации – знаковой для жанровой разновидности романа «на старый лад», традиционная предзаданность которой не удовлетворяла Пушкина.

И последнее. Описывая «схему классической разновидности семейного романа», М.М. Бахтин отмечал как ее «существенную особенность» «скитание главных героев, прежде чем они обретут семью и материальное положение»: «Движение романа ведет главного героя (или героев) из большого, но чужого мира случайностей к маленькому, но обеспеченному и проч-

ному родному миру семьи, где нет ничего чужого, случайного, непонятого, где восстанавливаются подлинно человеческие отношения, где на семейной основе восстанавливаются древние соседства: любовь, брак, деторождение, спокойная старость обретенных родителей, семейные трапезы. Этот суженный и обедненный идиллический мирок является путеводной нитью и заключительным аккордом романа» [2, с. 165–166].

Герои же «Онегина» движутся в прямо противоположном направлении: из «суженного и обедненного», но кажущегося таким «прочным» и «родным» идиллического «мирка семьи» они либо уходят в мир иной, как «в час перед обедом» «простой и добрый барин» Дмитрий Ларин или (до срока) «бедный» Ленский, убитый «приятельской рукой»; либо переходят в «чужой, случайный, непонятный» большой мир с его «блеском, и шумом, и чадом», как Татьяна, продолжая тосковать по «светлому ручейку» и «сумраку липовых аллей»; либо вообще становятся бесприютными скитальцами, как Евгений – «чужой для всех, ничем не связан». Даже Ольга, более других персонажей романа как будто бы вписанная в семейно-идиллический топос, «плененная» уланом («Не долго плакала она»), «судьбою вдаль занесена»: «Улан, своей невольник доли, / Был должен ехать с нею в полк» [6, V, с. 144]. Полк как нечто кочевое, непостоянное является прямой противоположностью «дому», тому идиллическому миру, который оставляют, таким образом, все герои романа. «Старушка» Ларина, «слезами горько обливаясь», остается одна в осиротевшем дворянском гнезде, где некогда «под липами» играла молодая жизнь. И вместо «заключительного аккорда», венчающего «семейную идиллию», сюжетно и композиционно завершая ее счастливым соединением героев («... и наконец / Я поведу их под венец...»), – «свободная даль» пушкинского романа, с непредрешенным, непредсказуемым, как и сама жизнь, открытым финалом. Пушкинский роман «на новый лад» строится, таким образом, именно «в зоне контакта с настоящим в его незавершенности» [2, с. 198].

Анализ традиционных для «сентиментального романа» «на старый лад» ситуаций и сцен (и, в первую очередь, ситуации чаепития – квинт-эссенции семейной идиллии) позволяет увидеть, как Пушкин, трансформируя канон (или, на языке Ю.М. Лотмана, демонстрируя «систематические отклонения от схемы»), создает свой роман «на новый лад», показывая объективную сложность жизни, не укладывающуюся в условности идиллического хронотопа.

«Евгений Онегин», как было сказано в самом начале, стоит у истоков русского классиче-

ского романа. Поэтому все последующие романисты, так или иначе, испытывая воздействие Пушкина, «извлекают из сложного целого пушкинского романа отдельные смысловые срезы» [1, с. 455], по-своему переосмысляя и развивая их. С одним из таких «смысловых срезов» и связана ситуация чаепития, которая на правах «равнодостоянной» составляющей «идиллической жизни», или «семейной идиллии», входит во многие классические романы, получая в них иную, нежели у Пушкина, интерпретацию, но с неперменной оглядкой на него.

Примечания

1. До Бахтина идиллический хронотоп сходно описывал В.Ф. Переверзев, обозначая его как «усадебный мир» («Творчество Достоевского», 1912). Действительно, в русской классической литературе идиллический хронотоп чаще всего представлен именно усадебным миром, который, по мнению Переверзева, отмечен «постоянством связей во времени и в пространстве»: «Родовой дом, в котором прожили десятки поколений, сменяя друг друга, стоит неизменно, храня следы прошлого, связывая его с настоящим. Те же липы, которые десятки лет осеняли дедов и прадедов, шепчут теперь новому поколению о днях былых. Сквозь шепот лип слышится говор стариков, мелькают перед глазами их образы – и снова как бы переживается угасшая жизнь. Десятки и сотни лет вокруг дома уютится деревня, зеленеют поля, синееет лес, и все это живет для новых поколений, как жило оно для предков. <...> ... здесь жизнь развертывает свою книгу страница за страницей, и плавно, последовательно, эпически спокойно говорят эти страницы о тихой и преемственной жизни усадеб» [3, с. 489–490].

2. Липа выступает в идиллическом хронотопе как один из устойчивых символов русской усадьбы, многократно воспетый в русской классической литературе: от Пушкина («Домовому», 1819) – до Бунина («Темные аллеи», 1938). Редкая русская усадьба обходится без липовой аллеи – не только главного украшения усадебного парка, но и молчаливой хранительницы молодых восторгов и сердечных тайн ее обитателей. Вспомним знаменитую липовую аллею Керн в Михайловском, связанную с одним из высочайших подъемов творческого вдохновения Пушкина [5, с. 43–44].

3. Здесь и далее цит. по: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. М.- Л.: Изд-во АН СССР, 1949–1951 (с указанием тома и страницы).

4. О связи «Графа Нулина» с «Евгением Онегиным» (четвертой и пятой главами романа) [7, с. 10–21].

5. Примечание Пушкина: «Август Лафонтен, автор множества семейственных романов» [6, V, с. 195]. Речь идет о немецком писателе-сентименталисте (1758–1831) – «родоначальнике буржуазного “семейного” романа», который, «несмотря на яростные нападки со стороны романтиков, подвергших жестокой критике его “утопающий в слезах” сентиментализм», «стяжал себе огромную популярность среди совре-

менной ему немецкой публики, буквально зачитывавшейся его многотомными слезливыми чувствительными произведениями» [10]. (Курсив наш. – С.Е.)

6. «Главное в русском чаепитии – это атмосфера душевности, веселья, покоя и радости, возможность испытать чаю в приятной компании. Не зря в России за чаем прочно закрепилась слава напитка, согревающего не только тело, но и душу. За русским чайным столом не принято молчать, как, например, в японской традиции, или же разыгрывать “чайное представление”, как в Англии. <...> Беседа, общение – очень важная часть чаепития. <...> За чайным столом происходит объединение людей, людей разных поколений и разных интересов. Чаепитие в России – это больше, чем прием пищи. Чаепитие – важная часть социальной жизни человека» [12].

7. «Понятие “ситуация”... наиболее полно выражает мотивную структуру произведения, ценностно-иерархическую систему смыслов... В плане генеративной поэтики ситуация выступает как модель текстопорождения, некая дискурсивная практика. <...> В структурном отношении ситуация – ядро смыслового континуума, некая формально-содержательная константа, скрепляющая сверхтекстовую общность...» [15, с. 22].

8. Имеется в виду ария русалки Лесты из оперы «Днепровская русалка» (русская переработка оперы «Фея Дуная» австрийского композитора Ф. Кауэра), которая с неизменным успехом шла в России в начале XIX века (первая постановка – 1803 г.). Пушкин заимствует строчку из четверостишия оперного либретто:

Приди в чертог ко мне златой,
Приди, о князь ты мой драгой!
Там все приятство соберешь,
Невесту милую найдешь [16],

используя ее в явно иронически-насмешливом контексте. Эта ария главной героини, вошедшая в многочисленные песенники той поры [17, с. 146–147; 1, с. 598–599], была особенно популярна главным образом в провинции. Ее-то и «пищит» Дуня, аккомпанируя себе на гитаре.

Любопытно свидетельство Н.А. Маркевича, приведенное им в книге «Украинские мелодии» (М., 1831): «... Если устарела опера, то воспоминание удовольствий, которые она нам когда-то доставляла, придает ей большую цену; только недавно, благодаря А.С. Пушкину, перестали петь наши провинциальные красавицы арии из “Днепровской русалки”» [цит. по: 17, с. 147] (курсив наш. – С.Е.)

9. Чай с ромом, особенно любимый военными, стал популярен в России после 1812 года [13, с. 512–513].

10. «Активизируя в сознании читателя определенные затекстовые: поэтические, языковые, общекультурные – пласты, цитаты и реминисценции могут погружать авторский текст в созвучные ему внешние контексты... создавая ситуации иронии, диссонанса, контекстуальной несовместимости. <...> Объем культурной памяти и ее состав значительно колеблется даже в пределах читательской аудитории одной эпохи. Поэтому цитата, особенно невыделенная... создавая атмосферу намека, расчленяет читательскую аудито-

рию на группы по признаку “свои – чужие”, “близкие – далекие”, “понимающие – непонимающие”. Текст приобретает характер интимности по принципу “кому надо, тот поймет”» [1, с. 414].

11. Возьмем на себя смелость заметить следующее: в романе «Страдания юного Вертера» И.В. Гете нет сцены утреннего чаепития. Чаю герои гетевского романа предпочитают молоко, порой простоквашу, чаще всего кофе «под липами» (!) («Всеми миру известно – немцы пьют кофе» [18]; см., напр.: [19, с. 20, 22, 23, 36]). Вместе с тем легко представить вполне идентичную русскому чаепитию идиллическую деревенскую картинку по немецкому образцу: Лотта, окруженная ватагой очаровательных, резвых ребятишек – братьев и сестер, разливает за завтраком вместо чая, например, молоко.

12. Ср.: «... Читаю Клариссу, мочи нет какая скучная дура!» (Л.С. Пушкину. Начало 20-х чисел ноября 1824 г. Из Михайловского в Петербург [6, X, с. 110]).

13. Наблюдения И.М. Дьяконова над «параллельностью» жизни героев «Онегина» и автора, воссозданием в стихотворном романе «иллюзии реальности и соучастия с жизнью персонажей» [8, с. 89] вполне могут быть отнесены и к «<Роману в письмах>».

14. Кстати, Пушкин и в «<Романе в письмах>» «удваивает» семейную идиллию. Речь идет об описании Лизой уже упомянутых соседей по имени: «Я познакомилась с семейством***. Отец балагур и хлебосол; мать толстая, веселая баба, большая охотница до виста; дочка... лет семнадцати...» [6, VI, с. 62–63].

15. «”Умение играть” входит как естественное свойство» персонажей пушкинского незавершенного произведения, «игра придает им живость и обаяние», становясь «залогом» их «неповторимой индивидуальности» [21, с. 206]. Вообще весь «<Роман в письмах>», по удачному выражению Л.И. Вольперт, «окутан» «легкой дымкой игрового начала»: «Без нее пушкинский роман превратился бы в суховатую переписку, насыщенную публицистическими идеями» [21, с. 219].

Список литературы

1. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.: Искусство – СПб, 1995. 847 с.
2. Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа). СПб.: Азбука, 2000. 304 с.
3. Переверзев В.Ф. Творчество Достоевского // У истоков русского реализма. М., 1989. С. 455–662.
4. Грехнёв В.А. Лирика в романе (Диалог с читателем в «Евгении Онегине») // Мир пушкинской лирики. Нижний Новгород, 1994. С. 440–454.
5. Керн (Маркова-Виноградская) А.П. Воспоминание о Пушкине. М.: Сов. Россия, 1988. 416 с.
6. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949–1951.
7. Сидяков Л.С. «Евгений Онегин», «Цыганы» и «Граф Нулин» (к эволюции пушкинского стихотворного повествования) // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. VIII. С. 5–21.
8. Дьяконов И.М. Об истории замысла «Евгения Онегина» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 70–105.
9. Савоськина Т.А. Мотив женской власти в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» // Вестник Новгородского государственного университета. 2013. № 72. С. 44–47.
10. Литературная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclor/le6/le6-1161.htm>.
11. Грехнёв В.А. Диалог с читателем в романе Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1979. Т. IX. С. 100–109.
12. Русское чаепитие – традиция, которая сближает [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.tosbs.ru/sp/1005-rus-chaepitie>.
13. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь русского дворянства пушкинской поры. Этикет. М.: Молодая гвардия, 2005. 663 с.
14. Розанов В.В. А.П. Чехов // Розанов В.В. Собрание сочинений: В 30 т. М.: Республика, 1995. Т.4. О писательстве и писателях. С. 473–482.
15. Зырянов О.В. Феноменология «ситуативных» сверхтекстов в лирике (к постановке вопроса) // Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. Вып. 4. Диалоги классиков – диалоги с классикой. С. 13–40.
16. Фердинанд Кауэр. Оперный шлягер [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/v_mire_muzyki/vmm1991_47.htm.
17. Бродский Н.Л. «Евгений Онегин». Роман А.С. Пушкина. М.: Учпедгиз, 1952. 432 с.
18. Традиции чаепития [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.greenfield.ee/ru/tee-joomise-traditsioonid-2>.
19. Гете И.В. Страдания юного Вертера // Гете И.В. Избранные произведения: В 2 т. М., 1985. Т. 2. С. 9–122.
20. Дьяконов И.М. Об истории замысла «Евгения Онегина» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. X. С. 70–105.
21. Вольперт Л.И. Пушкин и Стендаль (К проблеме типологической общности) // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1986. Т. 12. С. 200–223.
22. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.

**«AND DUNYA POURS THE TEA...»
(TRANSFORMATION OF THE «FAMILY IDYLL» CHRONOTOPE
IN A.S. PUSHKIN'S «NEW-WAY» NOVEL)**

S.I. Yermolenko

The article examines the transformation of the idyllic chronotope (family idyll) in A.S. Pushkin's verse novel «Eugene Onegin». The analysis also includes the poem «Count Nulin» and the unfinished «<The Novel in Letters>». It is argued that Pushkin, before creating a new type of novel in Russian literature, was to determine his relation to the previous tradition of the genre, which he himself designated as the «old-way novel». The analysis of the situations and scenes that are traditional for a «sentimental old-way novel» (and, in the first place, the situation of tea-drinking – the quintessential family idyll) allows one to see how Pushkin, by transforming the canon, creates his «new-way novel», which is a reflection of the objective complexity of life that does not fit within the conventions of the idyllic chronotope.

Keywords: A.S. Pushkin, «Eugene Onegin», «<The Novel in Letters>», idyllic chronotope (family idyll), «old-way novel», transformation, canon.

References

1. Lotman Yu.M. Pushkin. SPb.: Iskusstvo – SPB, 1995. 847 s.
2. Bahtin M.M. Ehpos i roman (O metodologii issledovaniya romana). SPb.: Azbuka, 2000. 304 s.
3. Pereverzev V.F. Tvorchestvo Dostoevskogo // U istokov russkogo realizma. M., 1989. S. 455–662.
4. Grekhnyov V.A. Lirika v romane (Dialog s chitatelem v «Evgenii Onegin») // Mir pushkinskoj liriki. Nizhnij Novgorod, 1994. S. 440–454.
5. Kern (Markova-Vinogradskaya) A.P. Vospominanie o Pushkine. M.: Sov. Rossiya, 1988. 416 s.
6. Pushkin A.S. Polnoe sobranie sochinenij: V 10 t. M.–L.: Izd-vo AN SSSR, 1949–1951.
7. Sidyakov L.S. «Evgenij Onegin», «Cygany» i «Graf Nulin» (k ehvolucii pushkinskogo stihotvornogo povestvovaniya) // Pushkin. Issledovaniya i materialy. L., 1978. T. VIII. S. 5–21.
8. D'yakonov I.M. Ob istorii zamysla «Evgeniya Onegina» // Pushkin. Issledovaniya i materialy. L., 1982. T. X. S. 70–105.
9. Savos'kina T.A. Motiv zhenskoj vlasti v romane A.S. Pushkina «Evgenij Onegin» // Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 72. S. 44–47.
10. Literaturnaya ehnciklopediya [Ehlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: <http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le6/le6-1161.htm>.
11. Grekhnyov V.A. Dialog s chitatelem v romane Pushkina «Evgenij Onegin» // Pushkin. Issledovaniya i materialy. L., 1979. T. IX. S. 100–109.
12. Russkoe chaepitie – tradiciya, kotoraya sblizhaet [Ehlektronnyj resurs] Rezhim dostupa: <http://www.tosbs.ru/sp/1005-rus-chaepitie>.
13. Lavrent'eva E.V. Povsednevnyaya zhizn' russkogo dvoryanstva pushkinskoj pory. Ehtiket. M.: Molodaya gvardiya, 2005. 663 s.
14. Rozanov V.V. A.P. Chekhov // Rozanov V.V. Sobranie sochinenij: V 30 t. M.: Respublika, 1995. T.4. O pisatel'stve i pisatelyah. S. 473–482.
15. Zyryanov O.V. Fenomenologiya «situativnyh» sverhtekstov v lirike (k postanovke voprosa) // Ehvoluciya form hudozhestvennogo soznaniya v russkoj literature. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2014. Vyp. 4. Dialogi klassikov – dialogi s klassikoj. S. 13–40.
16. Ferdinand Kauehr. Opernyj shlyager [Ehlektronnyj resurs] Rezhim dostupa: http://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/v_mire_muzyki/vmm1991_47.htm.
17. Brodskij N.L. «Evgenij Onegin». Roman A.S. Pushkina. M.: Uchpedgiz, 1952. 432 s.
18. Tradicii chaepitiya [Ehlektronnyj resurs] Rezhim dostupa: <http://www.greenfield.ee/ru/tee-joomise-traditsioonid-2>.
19. Gete I.V. Stradaniya yunogo Vertera // Gete I.V. Izbrannye proizvedeniya: V 2 t. M., 1985. T. 2. S. 9–122.
20. D'yakonov I.M. Ob istorii zamysla «Evgeniya Onegina» // Pushkin. Issledovaniya i materialy. L., 1982. T. X. S. 70–105.
21. Vol'pert L.I. Pushkin i Stendal' (K probleme tipologicheskoy obshchnosti) // Pushkin. Issledovaniya i materialy. L., 1986. T. 12. S. 200–223.
22. Bahtin M.M. Ehstetika slovesnogo tvorchestva. M.: Iskusstvo, 1986. 445 s.